

О РУССКОЙ ЖУРНАЛИСТИКЕ

Среди бумаг журнала «Современник», хранящихся в Институте русской литературы, нами обнаружены корректурные гранки статьи Слепцова о русской журналистике. Статья занимает 11 полос ($1\frac{3}{8}$ печатного листа). Правка на корректуре отсутствует. Возможно, что статья первоначально должна была завершаться словами: «никогда не представлялось ему столько случаев изворачиваться, осваиваться, прилаживаться и принаравливаться, как теперь». После этих слов, стоящих в конце десятой гранки, набор текста заканчивался, не доходя до конца полосы, и под ним чернилами написана фамилия автора: *В. А. Слепцов*. Одиннадцатая гранка начинается словами: «Но при виде этого зрелища каждый литературный работник...». В конце текста — набранная подпись автора: *В. Слепцов*.

Установить авторское название статьи трудно. Печатный текст заглавия не имеет, вместо него проведена черта. Пометы на корректуре называют ее то «О журналистике», то «О журналах». В. Е. Евгеньев-Максимов в своей монографии о «Современнике» приводит данные типографских счетов, согласно которым в февральской книжке журнала за 1864 год была запрещена цензурой статья «О русской журналистике» объемом в $1\frac{3}{8}$ печатного листа¹. Судя по совпадению объема и близости названий, — это одно и то же произведение. Однако в фонде Петербургского цензурного комитета, хранящемся в Центральном государственном историческом архиве СССР в Ленинграде, не сохранилось никаких других документов, относящихся к истории этой статьи. Возможно, что она была снята редакцией «Современника» по неофициальной договоренности с цензором.

Написанная в обычной для автора «Трудного времени» эзоповой манере, статья посвящена разработке основной для Слепцова в середине шестидесятых годов теме борьбы с реакцией. Вместе с тем статья представляет собою обзор развития общественного мнения в России от кануна революционной ситуации конца 50-х годов до ее краха в середине 60-х.

Писатель показывает современное ему состояние периодической печати как результат всего развития русской журналистики в тесной связи с историей общественной борьбы. В соответствии с этим замыслом статья композиционно делится на три части, посвященные рассмотрению: современной либеральной печати, истории журнального дела в России и развития общественного движения 60-х годов.

Обращаясь к теме пореформенной печати, Слепцов имел достаточно оснований утверждать, что 1864 год — «не журнальный год, а газетный». В период пробудившегося общественного самосознания интересы читающей публики переместились от художественной литературы к публицистике, отражающей практические задачи социально-экономической жизни. «Увеличение числа газет, — писал А. П. Щапов в газете «Очерки», — свидетельство возросшего интереса общества к насущным интересам дня, победы литературы утилитарной над литературой искусства для искусства»². С прекращением газетной монополии в течение 1861—1863 гг. в Петербурге и Москве было основано около двадцати новых газет, среди них радикальные «Очерки» Г. З. Елисеева, либеральные «Голос» А. А. Краевского и «Современное слово» Н. Г. Писаревского, славянофильский «День» И. С. Аксакова, «Современная летопись» М. Н. Каткова (приложение к «Русскому вестнику») и др.

Газетная полемика чрезвычайно обострилась и приобрела политический характер, особенно в 1862 г., кульминационным и вместе с тем переломным году в истории освободительного движения 60-х годов, когда были арестованы Чернышевский, Н. Серно-Соловьевич и другие деятели революционного лагеря.

На фоне этой политической обстановки уясняются слова в публикуемой статье, что в 1862 г. «мнительному человеку подписываться было страшно: того и гляди, в прикосновение к уголовному делу попадешь!»

В 1863 г. уже очевидными были резкий спад революционного движения и не менее резкое поправление общественных настроений среди либеральной интеллигенции. Отпыле усилия революционно-демократической публицистики направлялись в первую

очередь на разоблачение реакции и всех поддерживающих ее сил, в том числе и тех органов печати, которые, по выражению Герцена, взяли на себя «полицейские обязанности в литературе». Таковы были «Московские ведомости» Каткова, именно с 1863 г. принявшие ярко выраженный реакционный характер. Материальному процветанию газеты содействовало закрепленное за нею властями «весьма шаткое преимущество», — на что намекает Слепцов, — исключительное право печатания «казенных объявлений».

Рядом с «Московскими ведомостями» Слепцов ставит в своей критике крупнейшие органы либеральной печати — «С.-Петербургские ведомости» и «Голос». Он показывает, что при всем внешнем отличии этих газет друг от друга их позиции по основным вопросам современности, какими в начале 1864 г. оставались крестьянская реформа и польское восстание, были близки. Все газеты «служат одной цели», несмотря на «некоторое внешнее различие», — констатирует Слепцов.

Дальше Слепцов заявляет, что никакие перемены редакций, происшедшие почти во всех основных газетах, не могут скрыть их истинной сущности, так как издатели их — «люди, всем нам коротко известные», которые «двадцать тысяч раз имели случай высказаться и высказывались». Действительно, образ мыслей некоторых либеральных издателей был настолько хорошо известен читающей публике, что фельетонист «Современного слова» еще до выхода новой газеты Краевского уже предвидел ее беспринципность: «И без гороскопа можно, кажется, сказать, что „Голос“ будет петь на всевозможные голоса, чтобы не услышать гласа трубного и вопиющих голосов подписчиков на „С.-Петербургские ведомости“ 1862 года»³.

Критика либерализма и созданной им «литературы благонамеренных усилий» заставляет писателя обратиться к истории ее возникновения, критически взглянуть на прошлое либеральной прессы, проследить ее путь от некоторой оппозиционности в недалеком прошлом к поддержке правительства и его реакционного курса в настоящем. В объяснение этого пути автор ссылается не только на политические силы реакции: «сама публика пала так низко, — констатирует он, — что и не нуждается даже в порядочной журналистике». Так в статье возникает тема «понижения тона» — тема общественной реакции.

Обзор журнальной деятельности в России Слепцов начинает с основания катковского «Русского вестника», т. е. с 1856 г., когда Александр II, выступая перед московским дворянством, сделал первое заявление о необходимости отменить крепостное право, чтобы избежать революции.

Вынужденный и вместе с тем крепостнический характер крестьянской реформы Слепцов разоблачает при помощи эзоповского переосмысления истории «бегства Магомета из Мекки в Медину». В «подвиге» этом, — иронически пишет он, — «выразилась, если не трусость, то во всяком случае уж очень явное эгоистическое побуждение». Слепцов стремится внести ясность в вопрос о подавленном состоянии передовых кругов русского общества середины 60-х годов. Основная причина этого настроения заключалась, по его мнению, в тех иллюзиях, с которыми были встречены в обществе заявления царского правительства о предстоящих реформах. Идеализации «либерального курса» Александра II писатель противопоставляет трезвую оценку реформ как «лжи и обмана». По словам Слепцова, это было понято поздно, «когда большая часть наших сил была уже истратчена на то, чтобы узнать — ложь это или нет». Освобождение крестьян проводилось руками «бежавших из Мекки» крепостного права «лжепророков», которые еще недавно «вещали о пользе плетей, о вреде просвещения». Подобные «бегуны», — указывает Слепцов, — появились и в литературе. Говоря о «беглых пророках», которые «ловко воспользовались всеобщим остолением <...> и сейчас же стали извлекать из этого положения для себя пользу», Слепцов, нужно думать, имеет в виду прежде всего ту политическую эволюцию, которую проделали Катков и его «Русский вестник» в середине 50-х — начале 60-х годов. Демократическая газета «Очерки» так писала об этой эволюции: «Очень многие из тогдашних отъявленных прогрессистов <...> очутились даже назади того, что делало гораздо спокойнее само правительство»; «Такого рода трансформация произошла, как известно, с „Русским вестником“ и его аккомпанементом „Современной летописью“. Собственно говоря, этой трансформации, впрочем, и не было: „Русский вестник“ и во времена своего блеска обнаруживал

тенденции подобного свойства, но они не были так заметны для большинства, которое отуманивали шумные фразы; теперь характер издания стал только яснее и откровеннее»⁴. Сатирически используя фразеологию либеральной печати в оценке реформы, Слепцов пишет о манифесте 19 февраля метафорически, как о пробуждении нового дня: «Между тем солнце взошло и осветило поля», «Феб лучезарный из морей поднялся окончательно».

Крепостническая сущность реформы вскоре была понята передовыми людьми русского общества, ибо «самого умного человека можно обмануть, а толпу нельзя». Поэтому «восторг, обуявший толпу, по случаю возрождения, стал, видимо, охлаждаться». Для демократов стало вполне очевидно, что никакая «игра в либерализм» не может привести к сколько-нибудь радикальной перестройке общественных отношений. Причину социальнo-экономических противоречий они видели «не в самих людях, а в окружающих их условиях». Слепцов достаточно ясно высказывает убеждение в необходимости революционного разрешения этих противоречий: «...нужно было сыскать такое универсальное средство, при помощи которого несправедливое отношение одного лица к другому стало бы невыгодно». По-видимому, год провозглашения крестьянской реформы Слепцов считал наиболее благоприятным для революции. В это время «многими начало овладевать желание обновиться, произвести коренную перестройку и перестановку в отношениях», причем «обстоятельства не могли служить большою помехою».

Ближайшее будущее показало, однако, что русское общество разделилось на «два направления, прямо друг другу противоположные». Слепцов по справедливости высоко оценивает усилия демократического лагеря, людей, «для которых интересы дела гораздо важнее их личных интересов».

Взросший в середине XIX в. интегес литературы к истории, этнографии, экономике России, увлечение народными сюжетами в беллетристике явились вспомогательными средствами для изучения «порядка, оказавшегося неудовлетворительным». Положительный результат этой работы писатель видит в том, что она восстановила «связь между разрозненными явлениями» и обнаружила «тайные пружины, приводившие в движение наш общественный механизм».

В рассуждениях Слепцова сказывается его неудовлетворенность передовой интеллигенцией того времени. Он упрекает ее в утопизме и в отсутствии «ясно сознанного идеала». Демократические силы, по терминологии Слепцова, — «добросовестные журналисты» — не смогли противостоять многочисленному антидемократическому лагерю, овладевшему в условиях реакции монополией мысли и голоса. К этому лагерю Слепцов причисляет и либералов, несмотря на то, что многие из них «очень бы удивились, неожиданно очутившись в обществе самых заскоружлых крепостников и обскурантов».

Причиной резкого поправения недавних либералов и «прогрессистов» оказалась их крепостническая сущность. Слепцов дает следующую характеристику ренегатства «Московских ведомостей», «Русского вестника» и других либеральных ранее изданий, повернувших вспять и ставших проводниками реакции: «Прекрасное слово вылетело впервые из вороньего горла русской журналистики. — Назад! — каркнула одна газета. — Назад! назад! — дружно повторили другие, и вдруг поднялась вся стая *вестников, сборников, листков и обзоров* и полетела в разные стороны, пища и чиликая: назад, назад, назад!»

С присущей ему трезвостью взгляда Слепцов констатирует, что надежды лучших людей России на близкую революцию на данном историческом этапе не оправдались. Но Слепцов не теряет оптимистической перспективы. Он кончает статью предупреждением «ренегатам» либерализма, что «близок тот день», когда их поведение не станет рассматриваться в обществе как «торжество практического смысла», но будет заклеено «вечным позором в назидание потомства».

ПРИМЕЧАНИЯ

¹ В. Е. Евгеньев-Максимов. Последние годы «Современника». 1863—1866. Л., 1939, стр. 83.

² «Очерки», 1863, № 2, от 3 января.

³ «Современное слово», 1863, № 1, от 1 января.

⁴ «Очерки», 1863, № 8, от 9 января.

<«ЛЮДИ, СЛЕДЯЩИЕ ЗА ХОДОМ НАШЕЙ ЖУРНАЛИСТИКИ...»>

«De ta tige détachée
 Pauvre feuille desséchée,
 Ou vas tu? — Je n'en sais rien...»*

Люди, следящие за ходом нашей журналистики, по некоторым соображениям утверждают, что нынешний — 1864 год — не журнальный год, а газетный. Мнение это подкрепляется и цифрами, т. е. сравнением числа подписчиков. У газет их гораздо больше, нежели у толстых журналов. Год тому назад еще нельзя было положительно сказать, — в какую сторону повернется дело: подписка шла как-то нерешительно; как у журналов, так и у газет подписчиков было не много и не мало; и притом, один и тот же человек выписывал и «Московские ведомости», и «Голос», и «Современник», и «Инвалид». Во время подписки, подписчик в недоумении ходил из лавочки в лавочку, справлялся, советовался с приказчиками и, наконец, совсем сбившись с толку, подписывался очертя голову. И, надо правду сказать, на прошлогоднего подписчика смотреть было жалко: положение, как хотите, затруднительное. Предшествовавший (1862) год особенно насчет газет, такой был, что чёрт его знает, ничего разобрать нельзя. Каждая газета отдельно и все вообще к концу года до такой степени переругались и такие кляузы стали взводить друг на друга, что мнительному человеку подписываться было страшно: того и гляди, в прикосновение к уголовному делу попадешь! Объявления... что объявления? По примеру прежних лет объявления тоже большой веры дать нельзя. А тут еще «Очерки» завелись, перемены редакций, казенные объявления... И чёрт их знает, что это такое. Думает, думает подписчик, даже в пот его бросит; возьмет да и подпишется на «Очерки» и на «Московские ведомости». Ну-ка, господи благослови, что будет!..

Прошел год, один только год; тот же подписчик приходит в книжный магазин, но...

Подписчик, что с тобою случилось?
 Где прежняя лазурь твоих очей?

Из робкого и доверчивого юноши он превратился в мужа с твердыми убеждениями, с положительными требованиями.

— «Московские ведомости!» — решительно и строго говорит, небрежно прислоняясь к прилавку.

— Не угодно ли вам взглянуть также и на другие объявления? — робко и вкрадчиво замечает приказчик.

— «Московские ведомости!» — еще решительнее и строже повторяет подписчик и наморщивает брови.

— «Голос!» — входя в двери, кричит другой подписчик, грозно поводя глазами.

— Сейчас-с. Но у нас принимается подписка и на другие периодические издания, — пачинает приказчик. — Вот «День», например...

— «Голос!» Слышите, «Голос!» По-русски вам говорят или нет? «Эге-ге, — думает приказчик. — Вон он как заговорил!»

«Н-да; в один год и как избаловался!»

— Сладу никакого нет с подписчиком: затвердит одно, и хоть ты его зарежь.

* «Оторванный от своего стебля,
 Бедный сухой листок,
 Куда ты летишь? — Я не знаю...» (франц.) <Из стихотворения Антуана Арно «Листок».>

— Строг стал, — в один голос говорят все конторы.

Однако что же это значит? Почему в нынешнем году охотнее подписываются на газеты и притом исключительно на *известные* газеты? Откуда взялась эта исключительность, этот сепаратизм? Не все ли газеты равны, не все ли они служат одной цели? И хотя нельзя не сознаться, что между ними есть некоторое внешнее различие, но ведь это различие существовало и прежде, однако никто его не замечал. В начале прошлого года

«De la tige détachée
«Pauvre feuille déchignée
«Ou vas tu? — Je n'en sais rien...»

Люди, слѣдящіе за ходомъ нашей журналистики, по нѣкоторымъ соображеніямъ утверждаютъ, что нынѣшній — 1864 годъ — не журнальный годъ, а газетный. Мнѣніе это подкрѣпляется и цифрами, т. е. сравненіемъ числа подписчиковъ. У газетъ ихъ гораздо больше, нежели у толстыхъ журналовъ. Годъ тому назадъ, еще нельзя было положительно сказать, — въ какую сторону повернется дѣло: подписка шла какъ-то нерѣшительно; какъ у журналовъ, такъ и у газетъ подписчиковъ было не много и не мало; и притомъ, одинъ и тотъ же человѣкъ выписывалъ и «Московскія Вѣдомости», и «Голосъ», и «Современникъ», и «Ипполитъ». Во время подписки, подписчикъ въ недоумѣніи ходилъ изъ лавочки въ лавочку, спрашивая, совѣтовался съ прикащиками и наконецъ, совсѣмъ сбившись съ толку, подписывался очертя голову. И, надо правду сказать, на прошлагодняго подписчика смотрѣть было жалко: положеніе, какъ хотите, затруднительное. Предшествовавшій (1862) годъ, особенно на счетъ газетъ, такой былъ, что чортъ его знаетъ, ничего разобрать нельзя. Каждая газета отдѣльно, и всѣ вообще, къ концу года до такой степени переругались, и такіа клеузы стали изводить другъ на друга, что мнительному человѣку подписываться было страшно: — того и гляди, въ прикосновеніе къ уголовному дѣлу попадешь! Объявленія... что объявленія? По примѣру прежнихъ лѣтъ объявленіямъ тоже большой вѣры дать нельзя. А тутъ еще «Очерки» завелись, перемѣны редакцій, казенныя объявленія... И чортъ ихъ знаетъ, что это такое. Думаетъ, думаетъ подписчикъ, даже въ потъ его бросить; возьметъ да и подпишется на «Очерки» и на «Московскія Вѣдомости». Ну-ка, Господи благослови, что будетъ!..

Прошелъ годъ, одинъ только годъ; тотъ же подписчикъ приходитъ въ книжный магазинъ, но...

«Подписчикъ, что съ тобою случилось?
«Гдѣ прежняя лазурь твоихъ очей?»

Изъ робкаго и доверчиваго юноши онъ превратился въ мужа съ твердыми убѣжденіями, съ положительными требованіями.

КОРРЕКТУРА ЗАПРЕЩЕННОЙ СТАТЬИ СЛЕПЦОВА О РУССКОЙ
ЖУРНАЛИСТИКѢ, 1864 г.

Гранка первая

Институтъ русской литературы АН СССР, Ленинградъ

среди выжженной солнцемъ газетной нивы еще торчали две одинокіе былинки: «Очерки» и «Современное слово», но теперь ихъ нѣтъ; следовательно, ничто уже не докучаетъ взору, ничто не останавливаетъ на себѣ вниманія наблюдателя, привыкшаго любоваться утрамбованнымъ плац-парадомъ нашей журналистики. Почему же теперь, именно теперь, когда «равненіе» между газетами достигло, по-видимому, высшей степени совершенства, когда каждая газета, такъ сказать, «чувствуетъ локтемъ товарища», теперь-то вотъ подписчики и начали высказывать свои задушевные симпатіи то къ той, то къ другой?... Почему? Не присзошло ли въ журналистикѣ

каких-либо важных перемен? Не расширились ли права литераторов? Не наехали ли, наконец, к нам откуда-нибудь новые издатели?..

Ничего этого нет. Перемен никаких не произошло, новых прав никаких не дано; а издатели всё те же, что были и прежде, — люди, всем нам коротко известные. Точно, что некоторые редакторы поменялись изданиями; но что же из этого? «Московские ведомости» издавал прежде г-н Корш, а теперь издает их г-н Катков; но ведь г-н Катков и прежде издавал газету. Г-н Корш издает «С.-Петербургские ведомости», а прежде издавал их г-н Краевский; но ведь г-н Корш и прежде издавал газету. Наконец, г-н Краевский издает «Голос» — новое издание; но ведь г-н Краевский и прежде издавал разные журналы и газеты. Все эти господа двадцать тысяч раз имели случай высказаться и высказывались. Почему же это только теперь подписчики догадались, какая разница между направлением гг. Корша, Каткова и Краевского? Почему люди, подписавшиеся на «Московские ведомости», не хотят подписываться на «С.-Петербургские ведомости»? Почему подписчик «С.-Петербургских ведомостей» гнушается «Голосом»? Это странно. Однако должна же быть какая-нибудь причина. Нужно справиться, нет ли тут какого-нибудь недоразумения. Но прежде надо попытаться, откуда взялось предпочтение, оказываемое газетам перед толстыми журналами.

Начнем издалека. Между такими двумя понятиями, как «русская литература» и «русская журналистика», фактического различия* не существует. С самого появления более или менее правильных периодических изданий в России, т. е. с начала тридцатых годов, все сколько-нибудь живое и талантливое со всех концов нашего отечества стягивалось в московские, а потом в петербургские журналы. В последние десять-пятнадцать лет русская журналистика поглотила все, что могло появляться у нас в форме печатного слова, за исключением разве кое-каких сборников, кое-каких специальных сочинений научного содержания, большею частью, впрочем, переводных. Только благодаря этой журнальной централизации и возможно было существование нашей литературы при тех неблагоприятных условиях, при которых она развивалась. Для того, чтобы завоевать себе право голоса и приобрести ту ничтожную долю нравственного влияния, которою пользуется наша литература в настоящее время, нужна была тяжелая, упорная борьба, как с обстоятельствами, так и с самим обществом, что, разумеется, было не по силам даже самым талантливым людям до тех пор, пока они действовали в одиночку. Нужна была связь между разрозненными лицами, дружное и систематическое преследование одной цели. Люди, посвятившие себя литературному делу, давно поняли все это, стали сближаться между собою и условливаться в средствах. Таким образом организовались литературные кружки. Тут начало русской журналистики, тут, следовательно, первое проявление и той нравственной силы и независимости, без которых наша литература навсегда осталась бы мертвым библиографическим материалом и не пошла бы, вероятно, дальше тех альманахов, которые издавались в двадцатых годах в Петербурге.

Наука в России всегда приноравливалась только к удовлетворению государственных нужд или была достоянием отдельных личностей, погибавших большею частью в неизвестности. Наука у нас никогда не развивалась самостоятельно, а потому и не могла добиться популярности; следовательно, и влияние ее на литературу не могло быть велико. Присутствие научного элемента в нашей литературе всегда чувствовалось до такой степени слабо, что люди, незнакомые с развитием науки на Западе, не имели никакой возможности узнать что-нибудь из тех жалких

* Заметьте: фактического. В теории оно, разумеется, существует — *Прим. Слепцова.*

компиляций и отрывочных сведений, которые предлагала желающим русская литература. Что касается специальных заведений, посвященных исключительно служению той или другой отрасли знания, то опыт доказал, что эти заведения не только не способствовали развитию и обобщению научных сведений, но, напротив того, служили какими-то громоотводами, мешавшими науке проникать в массу общества. В последнее десятилетие время от времени начали показываться первые попытки самостоятельных исследований наших молодых ученых, но даже и эти робкие упражнения большею частью появлялись в журналах, а этим они доказали только, что наука в России, при существующих средствах, для того, чтобы перейти в общественное сознание, все-таки еще пока без помощи журналистики обойтись не может. Это, впрочем, не относится к трудам императорской академии наук и разных ученых обществ. Все эти труды нисколько, разумеется, в журналистике не нуждаются и составляют совершенно отдельную от всего крещеного мира и замкнутую в самой себе литературу. Нуждается ли в такой литературе журналистика—это другой вопрос; а что теряет от этой замкнутости общественное сознание—это третий вопрос, разбирать который здесь не место. Тем не менее из всего вышесказанного следует, что говорить о литературе в настоящее время—значит говорить о журналистике; потому что нельзя же, в самом деле, считать чем-то самостоятельным, чем-то независимым те 20—30 книжек в год, которые печатаются отдельными изданиями и состоят большею частью или из стихов, или из учебников, или, наконец, просто-напросто составляют предмет самой наглой спекуляции.

Относительно нашей журналистики давно уже составилось мнение, что будто бы она составляет необходимую потребность нашего общества. Мнение это особенно часто приходилось слышать в последние десять лет. Насколько оно справедливо, это еще бог знает, но достоверно то, что русская журналистика обязана своим настоящим положением исключительно усилиям очень небольшого числа людей; что же касается самого общества, то вряд ли оно повинно в этом деле. Всякий, кто хоть сколько-нибудь знаком с ходом журнального дела в России, знает, что наша читающая публика относилась до сих пор, если не равнодушно, то совершенно пассивно к той тревожной и непрестанной борьбе с obstacles, которая велась в журналистике с самого дня ее рождения.

Публика молча позволяла себя поучать, молча выслушивала упреки и откликалась только тогда, когда что-нибудь уж очень задирало ее за живое.

Такое равнодушие не могло не отразиться и на журналистике.

Освоившись, наконец, в своей роли доброго наставника, избравшего методу «поучать забавляя», наша журналистика слишком долго засиделась в ней, так долго, что сама, наконец, заслушалась собственного гласа, вопиявшего в пустыне, и не заметила, что дитя успело вырасти и начало высказывать свои склонности. В обществе стали бродить кое-какие мысли, то там, то сям стали прорываться небывалые порывы, а журналистика по-прежнему продолжала из пальцев делать зайчиков и показывать их на стенах, по-прежнему стреляла из деревянных пушечек. Между тем дитя пожелало схватить зайчика за ушки и поймало наставника за пальцы, дитя попробовало выстрелить из пушки, но оттуда вылетел горох. Наставник сконфузился и признался, что из настоящих пушек он и сам стрелять не умеет и настоящих зайчиков делать не может. Отсюда развилось то недоверие к литературе, плоды которого мы пожинаем теперь. У нашей журналистики никогда не было твердой опоры в обществе, не было помощника, который бы мог показывать людям на деле то, что старалась изобразить литература более или менее искусно с помощью пальцев и деревянных игрушек; одним словом, не было того, что назы-

вается практическим тактом. Притом же литература говорила большею частью только о том, что *должно бы быть*, в то время, когда публика не знала хорошенько и того, что *есть*. Людям советовали быть честными в то время, когда для них честность значила то же самое, что глупость; людям предлагали самоотвергаться во имя идеи в то время, когда за эту идею никто гроша медного не давал. Как ни хороши были сами по себе те нравственные начала, которые писались в книгах, люди решительно не знали, что с ними делать. С одной стороны, действительность на каждом шагу говорила им, что жизнь есть искусство подтасовывать обстоятельства, что жизнь есть спекуляция, выгодная только для того, кто обладает сравнительно наибольшим бесстыдством и способен на всякую сделку; с другой стороны, литература говорила, что жизнь есть подвиг, и благословляла на борьбу. Шулерство и подвиг, борьба и сделка, разумеется, не могли примириться: произошло столкновение, и действительность одолела. И еще раз синица получила предпочтение перед журавлем в небе, и еще раз теоретическая истина названа была мечтою. А случилось это по той причине, что оказалось выгоднее.

Наконец, журналисты поняли, в чем штука... Выгода! Материальная выгода! Вся сила в том, чтобы показать человеку, *как выгодно* быть честным. Дело, по-видимому, очень простое. Теперь, когда отыскана в обществе точка опоры, когда литература стала лицом к лицу с человеком и, весело подморгнув ему, сказала: теперь я знаю, любезный друг, как мне говорить с тобою, по-видимому, оставалось только начать поучение и приняться перечислять те неисчерпаемые выгоды, которыми может пользоваться человек, не унижая своего достоинства, но... но оказалось, что это невыгодно.

Слово, найденное журналистами, только в первую минуту поразило всех своею удивительною простотою и несложностью; в следующую же, после короткого размышления, догадались, что в этом слове, как и в слове *металл*, сокрыто несколько различных смыслов, что моя выгода — это вовсе не то, что твоя; что если тебе выгодно быть честным, а мне невыгодно, то я могу устроить так, что и тебе будет невыгодно; и, наконец, пришли к тому заключению, что слово *выгода* — слово кабалистическое и означает: мир, весь видимый мир со всеми тремя царствами, с биржами, с конгрессами, с процентами и с Наполеоном; одним словом, тут всё: и настоящее, и прошедшее, и будущее, и мир, и война, и рабство, и свобода. Все держится, управляется, строится и разрушается на основании этого до невероятности простого понятия — выгода.

Таким образом, открытие принципа, во имя которого движется мир, вместо того, чтобы упростить, еще более осложнило задачу журналистики. Прежде всего необходимо было распутать, разъяснить и привести в порядок (теоретический, разумеется) всю непроходимую путаницу отношений, которая существовала испокон века между лицами и целыми сословиями, отношений, основанных на дурно понятой и мелочной выгоде, отношений, в которые люди с незапамятных времен попали вследствие разных несчастных случайностей, потом затаились, путались в продолжении многих веков и, наконец, пришли к такому узлу, которого и развязать даже не было никакой возможности; пришлось разрубить. Все это необходимо было разъяснить, проследить связь с главным двигателем и подвести разрозненные явления под категорию.

Это часть теоретическая. Такая работа, несмотря на кропотливость, не представляла еще ничего невозможного. Но за этим следовал другой отдел программы — практический.

Для того, чтобы не потерять и той ничтожной доли нравственного влияния, которой с таким трудом добивалась журналистика и которою она все-таки дорожила, ей необходимо было оставаться последовательно и



«ВСТРЕЧА ДВУХ ПРИЯТЕЛЕЙ». ЗАПРЕЩЕННАЯ КАРИКАТУРА, ХАРАКТЕРИЗУЮЩАЯ ПОЛОЖЕНИЕ ПЕЧАТИ В УСЛОВИЯХ УСИЛИВАЮЩЕЙСЯ РЕАКЦИИ

— Здравствуйте, сэр... виноват — милорд! Говорят, вы без нас избаловались: не по чину ругаться начали, это не хорошо... Вы всё пиршествуете, а мы вот страдаем и сидим.

— Ух!... пусти меня, мне ужасно хочется побить этого арестанта.

— Полно, друг мой, не связывайся, — ничего ты с ним не поделаешь: одно слово „нигилист“... Оставь его. Нам сейчас принесли целую кучу объявлений, пойдем счета сводить, — это будет гораздо приятнее.

На карикатуре «Современник», только что возобновленный после восьмимесячного запрета, и «Московские ведомости», процветающие благодаря полученной монополии на публикацию казенных объявлений.

Изображены (слева направо): Леонтьев, Катков, Некрасов

Рисунок неизвестного художника, февраль 1863 г.

Публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина, Ленинград

«...в нашей журналистике в строгом смысле только два направления, прямо друг другу противоположные: все же остальные подразделения и оттенки, в сущности, не имеют никакого серьезного значения»

(Из статьи Слепцова «О русской журналистике»)

верною тем началам справедливости, которые выработаны были в теории; необходимо было спуститься из заоблачных сфер на землю, вмешаться в дела мирские и творить людям суд и правду. Понятно, что никто не требовал от журналистов, чтобы они своим личным примером наставляли людей и направляли их на стезю добродетели; читатели желали только практических указаний, они желали, чтобы журналистика научила их, как следует поступать человеку, который не хочет пользоваться чужим трудом и сам в свою очередь не намерен быть лошадью. Журналистика, по-настоящему, должна была бы удовлетворить в этом случае законному требованию публики. Почему ж и не сделать удовольствия? Ну, а она не сделала. Не могла. А за это публика лишила ее своего доверия. Что ж? — публика права. Какая же это литература, которая советует сделать то-то, а как это сделать, не говорит. — Стало быть, она сама не знает? — Как не знать. — Так почему ж она не говорит? Что ж тут такого, непозволительного, учить людей быть честными? Разве это запрещено? А? Что вы говорите? Не слышать. Странно.

Но как бы то ни было, странно это или нет, а факт все-таки остался неизменным, тот факт, что журналистика оконфузила себя перед публикою, доказав свое полное бессмыслие в практическом решении нравственных вопросов. История о том, как это случилось, очень печальна, в особенности для людей, причастных литературному делу; но все-таки лучше рассказать ее: во-первых, она и сама по себе довольно поучительна; а, во-вторых, это даже необходимо для того, чтобы найти причину предпочтения, которое оказывает публика газетам перед толстыми журналами.

Впрочем, из того, что сейчас сказано, слишком торопливый читатель поспешит вывести заключение, что если газеты предпочитают, то, стало быть, оконфузились, собственно, одни толстые журналы. Это неправда. Оконфузились, собственно, все — и журналы, и газеты, в особенности же газеты. А что если публика этого не замечает и продолжает на них подписываться и даже отдает им предпочтение, — тем хуже для нее. Если же она замечает и все-таки, несмотря на это, читает их, то это еще хуже. Это значит, что сама публика пала так низко, что и не нуждается даже в порядочной журналистике. Это показывает, что падение журналистики совершенно в порядке вещей, что оно даже было подготовлено самою публикою. Таким образом, выходит, что наша журналистика (но не журналисты) пала жертвою коварства и самой черной неблагодарности? — Да; почти что так. А все-таки лучше начать с начала.

Мусульмане исходною точкою своего летосчисления принимают год, в который произошло знаменитое* бегство Магомета из Мекки в Медину. Начинать хронологию с подвига, в котором выразилась если не трусость, то во всяком случае уж очень явное эгоистическое побуждение, конечно, немножко странно, однако не настолько, чтобы это могло служить помехою истории.

На этом основании и мы решаемся начать беглый обзор журнальной деятельности в России — с основания «Русского вестника». В этот год, сколько помнится, особенно знаменитого бегства не случилось; а если и были кое-какие маленькие перебежки, то про это знали только *свои*, т. е. такие дезертиры, которых никакими бегами в мире удивить нельзя. И в то время даже многие этому радовались. Возможность перебежать из Мекки в Медину показывала, по крайней мере, что есть еще и Медина, в которую можно в случае крайности и бежать; а до тех пор была только одна Мекка и бежать было некуда. Хорошее было время тогда. В то время все казалось возможным. Но пусть читатель не подумает, что оно было хорошо само по себе и что желательно было бы пользоваться им и до

* Историческое доказательство того, что и постыдный поступок может сделаться знаменитым. — *Прим. Слепцова.*

настоящей минуты. Такое желание безрассудно. Времена, подобные вышеупомянутому, времена критические и по натуре своей скоропреходящи. Желать продолжения их было бы так же неосновательно, как если бы замужняя женщина, несмотря на замужество, желала остаться девицею. Притом же время, совпадающее с основанием «Русского вестника», имеет важное значение для журналистики только по своим последствиям, по тем плодам, которые мы вкушаем теперь от древа, насажденного людьми того времени. Но вряд ли не большее значение имело оно для общества, в особенности для людей, бывших в то время еще юношами (здесь слово юноши не следует понимать в буквальном смысле).

У некоторых людей на всю жизнь остается до боли тяжелое воспоминание того случая, когда их в первый раз обманули. И чем продолжительнее была иллюзия, чем обольстительнее был обман, тем больше омерзения возбуждают они впоследствии, когда коварство обнаружилось и ложь явилась во всей наготе своей. Странная судьба выпала на долю нашему поколению; никакая практическая истина не давалась нам просто, в том виде, как вырабатывалась она самою жизнью. Мы узнавали ее только тогда, когда большая часть наших сил была уже истрачена на то, чтобы узнать — ложь это или нет. Положительное знание жизни приходило к нам только путем отрицания. Истинное значение какого-нибудь случая становилось для нас ясным только тогда, когда мы убеждались наконец, что были обмануты, т. е. что эдакого случая вовсе не было, а если и был, то вовсе не такой. Потому-то, может быть, у нас и нет желания даже мысленно переноситься в прошлое и снова переживать его. Картины, скрытые под завесою прошедшего, вовсе непривлекательны, краски их бледны и лживы, содержание оскорбительно. Мы с большею охотой предаемся другим, впрочем, не менее бесплодным мечтаниям; мысленно мы прилагаем наше настоящее знание жизни к минувшим заблуждениям. Нам представляется иногда, что если бы мы в то время обладали теперешнею опытностью, то мы должны были бы поступать вот каким образом — мы должны были бы задаться такой мыслию: что бы я ни узнал, что бы ни прочел, я ничему не буду верить, ни на что не буду надеяться, ничему не буду радоваться до тех пор, пока своими глазами не увижу, своими руками не ощупаю. Хорош принцип, но хороша должна быть и среда, вырабатывающая такие принципы! Впрочем, надо думать, что наш скептицизм вреда никому бы не сделал, а пользу принес бы немалую, по крайней мере, хоть в том отношении, что сил и времени сбереглось бы много. Но мы были слишком молоды в то время и, несмотря на то, что ложь и обман окружали нас с самого раннего детства, несмотря на то, что мы ежеминутно спотыкались и падали о подставляемые нам разными старцами ножки, нам все-таки *хотелось* верить. Повторяю: мы были очень молоды... К тому же всё, решительно всё, даже обстоятельства будто сговорились между собою и сложились именно таким образом, что нельзя было не поверить. Я приглашаю читателей войти в наше положение и рассудить, имели ли мы право не доверять людям, личная выгода которых клонилась именно к тому, чтобы не обманывать нас. Еще в людях-то мы могли сомневаться, но обстоятельствам не верить не могли: они были слишком ясны. И в ком могли они возбудить недоверие? Припомните, читатель, точно, были два, три голоса, уныло твердившие: так, так; все это так, но... Но мы хотели верить и больше ничего. Нужно же человеку верить во что-нибудь, хоть бы в то, наконец, что днем бывает день, а ночью бывает ночь. Что бы это такое вышло, если бы и в этом нужно было сомневаться?

...Белая полоска показалась на небе; мы проснулись на своих школьных кроватях и сказали друг другу: светает, братцы, вставайте! Веселая дрожь пробежала по телу; мы встали; а заря занялась; подул ветерок. На рассвете пришли бежавшие из Мекки пророки и тут же, сняв ветхие

одежды свои и облачившись в новые, сели на места уготованные и стали нам вещать о свободе. Мы так и замерли... За ними следом пришли другие, потом еще и еще; и все они заговорили о правде, о любви к человеку, о пользе наук, о вреде откупов. Но коварные скрыли от нас, что до бегства своего из Мекки они там точно так же вещали о пользе плетей, о вреде просвещения; они скрыли от нас, что мехи их были ветхи, а одежда на коленях протерта от преклонений; они солгали нам о причине, побудившей их к бегству, а в ней-то, в этой причине, вся и штука. Знай мы ее раньше, мы бы не поддались на их лстивые речи, мы бы прогнали их обратно на родину, в Мекку, и следы их замели бы и засыпали песком. Но мы ее не знали и не хотели слушать людей, которые твердили нам постоянно: не доверяйтесь старым лисицам. Тогда же появились и в литературе невозможные до тех пор *бегуны*. Откуда они взялись и что за звери, никто не знал. Восходящее солнце ярко светило нам, а бегуны были такие белые, гладкие, точно молодые тараканы, так проворно бежали и везде поспевали. Всем было весело, а потому никому и в голову не приходило спросить: зачем они тут вертятся и чего им нужно. Только уж спустя много времени оказалось, что бегуны были из Мекки и занесены были в журналистику в ветхих мехах лжепророков. Жаль только, что все это узнали немножко поздно, когда из бегунов вышли уже порядочные прусаки, заполонившие темные углы нашей журналистики. А во время торжеств и ликований все как-то перемешались и никто ничего не мог путем разобрать; только и слышно было, что «ликуй! ликуй! Герой ты», «Росс, воспрянь!» и т. д., а когда

Феб лучезарный из морей
Поднялся

окончательно, тогда такое неистовство овладело всеми, что можно было опасаться серьезных беспорядков. Наконец, вдруг все пожелали излить свои восторги в форме печатных песнопений, и в тот же миг началась подписка, такая подписка, какой еще свет не видывал: появилось бесчисленное множество газет и журналов, преимущественно же газет. В то время всякий, кто хотел, мог издавать газету, нужно было только иметь свидетельство от полиции, а это было не трудно, потому что сама полиция тогда находилась в таком положении... будочники стали книжки читать, офицеры шли в квартальные. Вообще столпотворение было.

Известно, что внезапные порывы восторга, гнева, отчаяния и проч. никогда не бывают продолжительны; особенно, если причины, вызывающие эти порывы, приходят неожиданно и к тому же путем внешних впечатлений. Чувство, порожденное каким-нибудь неожиданным впечатлением, обыкновенно или изглаживается под влиянием новых впечатлений, или видоизменяется в другое, более постоянное чувство, или же, наконец, переходит в область мышления и там уже окончательно перерабатывается и исчезает в массе текущих мыслей. Но как бы то ни было и что бы ни случилось с внезапным порывом, во всяком случае главное отличительное свойство его, недолговечность, остается при нем. Однако случается иногда, что человек спустя много времени после пароксизма все продолжает твердить одно и то же о впечатлении, произведенном на него неожиданным событием. Это показывает, что или мысль у этого человека никак не может совладать с впечатлением, или что у этого человека есть какая-нибудь посторонняя цель, какой-нибудь расчет в том, чтобы твердить о поразившем его событии. В первом случае обыкновенно человека называют глупым, а во втором — плутом.

В обществе такой сильной впечатлительности не бывает; частью потому, что оно состоит из людей, обладающих неодинаковой восприимчивостью, частью же потому, что всякое впечатление, произведенное на

массу, всегда парализируется множеством других мелких впечатлений, в которых никогда недостатка не бывает. Как бы сильно и неожиданно ни было впечатление, оно большею частию тут же, у всех на глазах, поглощается массою и сейчас же начинает перерабатываться в дело; и чем энергичнее общественная жизнь, тем быстрее совершается это поглощение и тем легче ассимилируется поглощенное.

В хорошо воспитанном обществе впечатление поражает не столько чувство, сколько мыслительные способности людей; и даже самое замешательство, бывающее всегда в это время, происходит не от страха или удивления, а просто от торопливого желания поскорее понять смысл явления, найти связь его с окружающим и тут же приурочить его куда следует. Способность толпы овладевать всяким новым явлением и быстро угадывать его настоящий смысл очень легко наблюдать на разных сборищах, во время народных праздников и торжеств, где происходит какая-нибудь публичная сцена, рассчитывающаяся на эффект. Замечательно, что подобные сцены очень редко удаются и никогда почти не обходятся без скандала. Обыкновенно бывает так, что в самую патетическую минуту вдруг кто-нибудь чихнет или сделает самое глупое замечание. Сейчас все и захохочут. Действующие лица обыкновенно за это очень сердятся и приписывают свою неудачу злостному влиянию каких-то тайных врагов своих, где-то скрывающихся в толпе и нарочно чихающих, чтобы рассмешить публику. Такое мнение в высшей степени несправедливо. Объяснять таким образом неудавшийся эффект — значит не знать характера толпы. Обыкновенно говорят — толпа глупа. И это несправедливо. Глупую толпу называют за то, что она поддается на всякую новую ловушку, на всякий вздор. Шел человек по улице, вдруг остановился и начал глядеть вверх. Сейчас же вокруг него собирается толпа и все глядят вверх, а там ничего и не было. Что хочешь покажи толпе, хоть кукиш, толпа будет глядеть. Стоит только кому-нибудь встать на тумбу и закричать: «Эй! Идите сюда», — и в ту же минуту соберется толпа. Скажите толпе: «Ну, что вы пришли? Ступайте с богом», — и толпа разойдется. Вот именно на это свойство толпы, на эту невзыскательность ее и рассчитывают всякого рода шарлатаны и спекуляторы; но это свойство вовсе еще не служит признаком глупости. Оно свидетельствует только о ее необыкновенной восприимчивости и податливости; но при этом не следует забывать и других ее качеств, свойственных только ей одной. Самого умного человека можно обмануть, а толпу нельзя. На мгновение можно, но не больше, как на мгновение. Не вовремя чихающие и делающие глупые замечания люди составляют ее неотъемлемую принадлежность, и всякая порядочная толпа немыслима без них так же, как немыслима толпа без любопытных и ротозеев. Эти-то два начала, одно вечно увлекающееся, а другое вечно критикующее, и составляет сущность толпы. На первое обыкновенно рассчитывают, а на втором обрываются неопытные, но отважные шарлатаны. Причина их неудач и более или менее быстрого падения заключается в том, что они приписывают постороннему влиянию то, что лежит в самом основании эксплуатируемого ими предмета; при этом обыкновенно также упускается из виду и то обстоятельство, что толпа воспитывается шарлатанами и что, рассчитывая на эффект, необходимо принимать в соображение труды предшественников и понесенные ими неудачи.

Так, например, толпу, привыкшую видеть каждый день людей в самых разнообразных костюмах, конечно, не удивишь каким бы то ни было пиджаком, и даже гусарским мундиром удивить нельзя; а потому человек, который пожелал бы обратить на себя внимание, должен был бы изобрести какой-нибудь еще невиданный костюм и увешать его хоть бубенчиками, что ли. Но зато платье с бубенчиками в Китае, например, не произведет никакого эффекта, потому что там все привыкли к бубенчикам и видят их

каждый день. Из этого примера легко заметить, что привычка к частой перемене впечатлений играет тоже немалую роль в тех случаях, где имеется в виду подействовать на восприимчивость толпы. Только в глухих, забытых светом захолустьях долго держатся впечатления, произведенные неожиданными событиями. Пожар, проезд сановного лица или даже какая-нибудь замечательная драка оставляют по себе неизгладимые воспоминания, которые и повторяются всеми несколько лет сряду и даже передаются из рода в род в первоначальном виде. По долговечности впечатлений и по тому, какое употребление делают из них люди, можно более или менее верно судить и о степени развития этих людей.

Во всяком мало-мальски путном обществе всегда есть несколько человек таких, которые быстро овладевают всяким новым явлением в жизни, как бы оно неожиданно ни было, и сейчас же объясняют остальным его настоящий смысл и значение. При этом указывают на связь его с предыдущими явлениями и предлагают практические советы относительно того, как и какую именно пользу можно извлечь из нового явления. А так как в путном обществе за новыми явлениями недостатка не бывает, шритом же и старые разрабатываются постоянно, то и деятельность этих лиц становится уже постоянною профессиею и составляет своего рода специальность. А эта специальность журналистика-то и есть. Но в каждом обществе есть также несколько личностей, которые выгоду свою полагают в том, чтобы не раскрывать перед людьми настоящего смысла новых явлений и, напротив того, постоянно поддерживать и даже по возможности усиливать производимые ими впечатления; и таким образом не допускать их до сознания, искажать, преувеличивать или перетолковывать в ту или в другую сторону, смотря по обстоятельствам, истинное значение разных фактов, начиная с явлений природы и кончая общественными отношениями. Такие личности водятся везде: и в девственных лесах Южной Америки, и в английском парламенте. В разных местах и при разных обстоятельствах они являются то в том, то в другом виде: то под видом заклинателей злых духов, жрецов и прорицателей, то под видом народных представителей; то в образе странствующих притигитаторов, то, наконец, в виде литературных деятелей — публицистов, отважно ратующих за свободу. Смотри по обстоятельствам, смотри по времени и месту, они то мажут тело свое оленьим жиром и надевают остроконечные шапки, то принимают наружность и замашки европейца и произносят блестящие речи; то глотают ножи и кружатся подобно волчку, сея на одной ноге, то барышничают лошадьми, то публично приносят себя в жертву общественному благу. Но, какой бы вид они ни принимали на себя, какие бы шапки ни носили, везде и всегда у них одна точно определенная цель: пользоваться невежеством и легковерием толпы и извлекать из нее в наикратчайший срок наибольшую для себя пользу.

Беглые пророки, о которых упоминалось выше, были именно такого сорта люди. Они ловко воспользовались всеобщим остоленением, случившимся по поводу неожиданной перемены обстоятельств, и сейчас же стали извлекать из этого положения для себя пользу. Во время суматохи они незаметно проникли в журналистику и примкнули к хору, певшему в то время восторженный гимн восходящему солнцу. Между тем солнце взошло и осветило поля; гимны один за другим умолкали, и только еще несколько человек, самых отчаянных энтузиастов, продолжали твердить последние строфы и приставать с ними к прохожим.

— Солнце взошло! — восклицали энтузиасты, воздевая руки к небу.

— Взошло, — отвечали им прохожие.

— Мы восстали от сна, — продолжали энтузиасты.

— Ну, восстали. Еще-то что?

— Пора нам приниматься за дело.

— Пора. Что же делать-то?

— Мы восстали от сна! — опять затанули энтузиасты, с радости потерявшие рассудок.

— А вы дураки, — отвечали им прохожие и пошли своею дорогою, а энтузиасты продолжали бесноваться до тех пор, пока добрые люди не сжалились над ними и не отвезли их в больницу.

Однако восторг, обуявший толпу по случаю возрождения, стал, видимо, охлаждаться; газеты, подобно пузырям, вскочившим на гладкой поверхности озера, одна за другой перелопались; практический смысл вошел снова в свои права и принялся шарить кругом — не нащупает ли чего-нибудь такого осязательного. С обществом между тем делалось что-то



«ГАЗЕТНАЯ СТЯПНЯ». КАРИКАТУРА НА «МОСКОВСКИЕ ВЕДОМОСТИ»

Рисунок неизвестного художника

Изображены сотрудники газеты и ее редактор Катков (в шотландской шапке)

«Будильник», 1868, № 41

небывалое, что-то, по-видимому, очень хорошее. Многими мало-помалу начало овладевать желание обновиться, произвести коренную перестройку и перестановку в отношениях. Впрочем, желание сознавалось неясно: как обновиться, каков должен быть план этой перестройки, никто не мог сказать наверное. Потребность тем не менее чувствовалась довольно сильно и с каждым днем высказывалась все больше и больше. В обществе все-таки сохранилось еще настолько жизни, что чуть лишь мало-мальски пригрело его солнцем и обдуло ветерком, сейчас же явилось и побуждение стряхнуть с себя ложь и плесень, толстою корою насевшие сверху, явилось даже темное желание начать *какую-то новую, честную* жизнь. Но и это был только порыв. В одряхлевшем, хотя и пробужденном обществе недоставало сил на то, чтобы привести в исполнение такое, хотя и темное, но благородное желание; да и сама жизнь, весь общественный устанок не представлял никакой возможности взяться за дело серьезно. Можно было заводить благотворительные общества, даже школы, можно было преследовать кое-какие упущеньица, наконец, можно было делать меньшей братии кое-какие подарочки; но даже и эти невинные забавы,

даже и эта «игра в либерализм», как ее называют теперь, с каждым днем пошла ту же и ту же; да и сами благотворители все больше и больше стали догадываться, что занимаются, в сущности, пустяками, что никакой тут перестройки нет, а что нового, собственно говоря, даже и выдумать ничего нельзя. Одним словом, порывы, как и следовало ожидать, дальше самой жалкой филантропии не пошли, потому что встретились лицом к лицу с грубою действительностью, с личною выгодою; а эта вещь, как известно, чрезвычайно устойчивая, и чувству, как бы оно благородно ни было, бороться с нею трудно. Дело стало, если хотите, за пустяками. Трудность, которую благородные порывы встретили в действительной жизни, трудность, которую нужно было преодолеть, состояла лишь в том, чтобы согласить личные выгоды одного человека с личными же выгодами другого. Что ж тут, по-видимому, такого непреодолимого? Конечно. Не все ли мы только об этом думали, только этого и желали? Но в том-то и штука: об *этом* ли мы думали? *Этого* ли мы желали? Попробуем определить точнее наши желания. Мы были недовольны прежним порядком вещей, потому что поняли его безнравственность, и пожелали другого порядка, других, более справедливых отношений между людьми. — Прекрасно. — Чем же мы, однако, были недовольны в прошлом? Главный, существенный недостаток прежнего порядка заключался в том, что люди вредили друг другу не потому, чтобы они были злы и чувствовали природную склонность вредить ближнему, но потому только, что весь общественный склад был так уж организован, что человек для того, чтобы жить, должен был *по необходимости* вредить другому. Если один человек хотел есть хорошую пищу, то для этого необходимого нужно было, чтобы другой человек отказал себе в хорошей пище. Если один человек нуждался в теплой одежде, то он мог приобрести ее не иначе, как развед другого. Такие отношения ни в каком случае, разумеется, не могут назваться вполне справедливыми отношениями. Мы это и поняли; поняли также, что причина такой несправедливости лежит не в самих людях, а в окружающих их условиях. Стало быть, мы должны были желать, чтобы условия эти изменились. Но как их изменить? Нужно было устроить их таким образом, чтобы я мог есть и спать спокойно в полной уверенности, что я моим сном и обедом никого не лишаю ни сна, ни обеда; отношения мои к людям должны быть такие, чтобы мне и *не хотелось* даже лишать других того, в чем я сам нуждаюсь. Одним словом, нужно было сыскать такое универсальное средство, при помощи которого несправедливое отношение одного лица к другому стало бы *невыгодно*. Как только экономический порядок стал бы на эту точку, так все остальные, второстепенные вопросы о праве, о вменяемости, о труде решились бы сами собою.

Этого ли мы желали? Об этом ли думали? Если так, то что же нам мешало наши желания привести в исполнение? Обстоятельства? — Нет. В то время обстоятельства не могли служить большою помехою, и на них сослаться нечего. Кто же помешал? — Никто. Мы сами себе помешали. Всеми нашими стараниями и беготнею мы доказали только одно: что мы вовсе не желали исполнения того, о чем мы говорили, что желали; да и не могли желать, прибавим к стати. А почему это так вышло, можно узнать из того, как поступала наша журналистика, на долю которой выпало решить этот нравственно-экономический вопрос и которая до сих пор не решила его, не только практически, но даже и в теории. Затруднения, ставшие поперек дороги нашим благородным порывам, по-видимому, не должны были бы служить препятствием для теоретических изысканий. Журналистика только и могла заняться изысканиями; что же касается практических средств, то ей в этом отношении пришлось бы ограничиться только советами; самый же выбор средств зависел бы от общества, т. е. от самой жизни. Но оказалось, что, и кроме того, еще предстояло одолеть

много препятствий, предстояла борьба не только с внешними, но и с внутренними врагами — с литературною интригою.

Наша журналистика, как известно, не представляет правильно организованной силы и не состоит из людей одинакового образа мыслей и одинакового направления. Всю массу лиц, занимающихся журнальною работою, можно разделить на три разряда. К первому принадлежат люди, для которых интересы дела гораздо важнее их личных интересов; ко второму относятся люди с преобладанием личных эгоистических выгод. Для этих журналистика служит только средством для приобретения денег и для удовлетворения личного тщеславия; наконец, в состав третьего входят все остальные, т. е. люди, занимающиеся писательским ремеслом или из любви к искусству, или вследствие горькой необходимости. Лица, относящиеся к первым двум разрядам, составляют меньшинство и руководят известными литературными органами; большинство же так называемых *литературщиков* исполняют всякого рода черные работы и постоянно придерживаются направления фирмы, частью за недостатком своего собственного; частью же по причине своего нравственного и материального убожества. Из этого видно, что в нашей журналистике в строгом смысле только два направления, прямо друг другу противоположные; все же остальные подразделения и оттенки, в сущности, не имеют никакого серьезного значения. Органы, считающие себя представителями того или другого второстепенного подразделения и желающие придать своему мнению самостоятельный характер, только обманывают своих читателей, но чаще всего обманывают самих себя. Мнимая самостоятельность их происходит от того, что они обыкновенно или *не хотят*, или *не могут* додумать мысль свою до конца и сделать из нее крайний вывод. Одна газета, например, имеет привычку останавливаться на такой-то мысли и дальше идти не может, а другая газета — другой. Один журнал говорит дело только до тех пор, пока не подвернется ему слово *народ*; остановившись на этом слове, он начинает топтаться на месте, а потому считает себя народным журналом; другой останавливается на слове *корень*, третий на *дворянских регалиях* и т. д., и каждый из них считает свое мнение самостоятельным и относится враждебно к остальным только потому, что сам не в силах обобщить свою мысль и найти связь ее с мыслью, проводимую его соперником. Тогда бы для него самого стало ясно, что он отличается от другого только форматом и большим или меньшим количеством опечаток. И если бы кто-нибудь взялся исполнить за них эту трудную работу, вывести крайние результаты из их мнений, то оказалось бы, что во всей русской журналистике только два направления. При этой сортировке многие либеральные органы, вероятно, очень бы удивились, неожиданно очутившись в обществе самых заскорузлых крепостников и обскурантов.

Двойственность направления в журналистике была причиною того, что и нравственно-экономическая задача, предложенная журналистике, решалась двояким образом. Люди, смотревшие на дело серьезно и добросовестно, взялись за него просто. Прежде всего, чтобы составить себе совершенно ясное понятие о том, что необходимо для блага людей, нужно было внимательно изучить порядок, оказавшийся неудовлетворительным; при этом необходимо было исследовать и причины, создавшие его, необходимо было проследить тот путь, которым шло общество прежде, нежели очутилось в настоящем положении. Кроме исторических изысканий, обращено было большое внимание на экономические условия страны, под влиянием которых складывался наш общественный быт. Этнография и беллетристика должны были служить вспомогательными средствами и доставлять сведения о характере, правах и нуждах народа. Люди, взявшиеся за такое солидное дело, обладали или обширными научными сведениями, или литературным талантом. И сначала все пошло было хорошо, но... Но одно-

временно с этими занятиями производилась работа и другого рода. По мере того как добросовестные журналисты углублялись в предмет своих изысканий, все больше и больше стали обнаруживаться тайные пружины, приводившие в движение наш общественный механизм, связь между разрозненными явлениями восстановилась, а потому и причины их с паразитической ясностью выступили наружу. Публика, которой вдруг показали все тайны ее быта, с ужасом отступила перед новым открытием: она и не ожидала ничего подобного, она смотрела на дело гораздо легче; ей даже стало неприятно, что отравили то кокетливо-сентиментальное расположение духа, в котором она находилась. Возможность исправиться и принести покаяние в старых грешках доставляла ей немало удовольствия; к тому же ей казалось, что все можно исправить и уладить с помощью каких-нибудь благородных спектаклей и детских приютов; а тут потребовались жертвы, несравненно большие, нежели сколько нужно на освещение залы и наем прислуги. Русское общество само хорошенько не знало, чего хотело. Оно чувствовало *какое-то* смутное недовольство старым порядком вещей, оно желало *какой-то* новой деятельности, *каких-то* новых лучших отношений; а что это за деятельность, что это за отношения, оно даже и представить себе не могло. Да кроме того, не нужно забывать, что это общество родилось, выросло и воспиталось на старых порядках; начала, против которых оно собиралось ратовать, еще крепко сидели в нем. Везде и на всем лежали еще свежие следы этих начал; люди, еще вчера приводившие в движение старый механизм, были все тут, налицо. И эти люди не могли, разумеется, оставаться равнодушными и безответными зрителями той перестройки, которую предполагалось произвести. Предстояла борьба не только с принципами, но и с живыми людьми, с очевидными, осязательно-очевидными фактами и, что хуже всего, борьба с самим собою, с своими привычками, с своим самолюбием, с своим собственным карманом, наконец; борьба упорная, тяжелая, требующая постоянного напряжения всех нравственных сил. И какая же награда за все это? Сознание правоты своей, сознание того, что делаешь действительно полезное и прочное дело. Но как ни прекрасно это сознание, однако для нашего общества оно представляло не много привлекательного. Материальные жертвы как-то плохо окупались в ее глазах невещественными наградами. Лишения, плодами которых могло пользоваться только отдаленное потомство, показались слишком тяжелыми. В хорошую минуту почти всякий бывает способен жертвовать многим, но тот же человек не даст и сотой доли, если потребовать от него жертвы тогда, когда эта хорошая минута уже прошла. Дело, которое полчаса тому назад казалось ему до такой степени важным делом, что за него можно идти на кол, теперь представляется ему уже вовсе не таким; да и самые люди, настаивающие на необходимости жертвы, становятся в его глазах скучными и неприятными. Причина той почти внезапной перемены, которая случилась в нашем обществе, была очень простая. Желать серьезной и прочной перестройки своего быта оно, как мы видели, и не могло, потому что борьба, предстоявшая ему по этому случаю, должна была бы совершаться во имя какого-нибудь ясно сознанного идеала, которого в наличности не имелось; кроме того, нужны были энергия, постоянство, самоотвержение и мало ли еще что было нужно. Где их было взять? Главное, нужно было убеждение в необходимости действовать так, а не иначе, уверенность, что так будет лучше. А кто же мог за это поручиться? — Журналисты? Да они и не ручались; они только из того и бились, чтобы заставить понять то, без чего, по их мнению, никакие реформы ни к чему не годны. «Пойми свое настоящее положение! Оглядись!» — беспрестанно повторяли одни журналисты. «Полно, охота тебе ребячиться!» — говорили другие. «Прилично ли нам, взрослым людям, гоняться за призраком?» — заканчивал хор.

Одним из главных препятствий, не допустивших общество серьезно взяться за дело преобразования нравственно-экономического быта, явился так называемый *практический смысл*; тот самый *практический смысл*, которым мы, русские, имеем неосторожность неумеренно и постоянно гордиться. Многие, вероятно, стали бы гораздо скромнее, если бы поняли, что в этой хвальной способности русского человека заключается сила, постоянно задерживающая всякое движение вперед. Практический смысл — это то свойство ума, которое заменяет человеку знание; и если человек на него очень положился, то и будет им постоянно руководствоваться в жизни, тогда дело кончится тем, что человек никому и ничему не будет доверяться, кроме своего практического смысла. Но тут еще пока беды большой нет; оно даже, пожалуй, и хорошо. Лучше руководствоваться практическим смыслом, нежели верую в судьбу; но дело-то в том, что это руководство обыкновенно влечет за собою очень печальные последствия. Что такое практический смысл? — Практический смысл — это житейская мудрость, это искусство найтись, извернуться, это сноровка, с помощью которой человек быстро уживается и усваивается со всяким новым положением, это умение обтерпеться, выйти сухим из воды и шилом молоко хлебать. Человек, обладающий практическим смыслом, никогда не даст заколотить себя до смерти, он всегда сумеет извернуться: его бить, а он... желудком слабость начнет. Потому-то люди в известном положении так и дорожат этим искусством, точно каким-нибудь сокровищем; потому-то человек только тогда и получает доверие к теоретическому знанию, только тогда и способен к развитию, когда выучивается увлекаться гипотезой, т. е. когда потеряет веру в житейскую мудрость, в практический смысл; а до тех пор он раб среды и обстоятельств.

Если начало последнего десятилетия изобиловало всякого рода порывами и увлечениями, зато конец представляет умирительное зрелище торжества практического смысла. Даже год тому назад еще возможны были увлечения; теперь их нет, ни в жизни, ни в журналистике. Практический смысл уничтожил последние следы увлечений и окончательно охладил наши юношеские порывы. Никогда еще это милое свойство русского мозга не поощрялось так охотно, как теперь, никогда не представлялось ему столько случаев изворачиваться, осваиваться, прилаживаться и принаравливаясь, как теперь.

Но при виде этого зрелища каждый литературный работник с краскою стыда на лице (по крайней мере, тот, для кого это еще возможно) должен будет признаться, что инициатива и пропаганда этого дела принадлежит журналистике. Она первая подала свой дешевый голос за практический смысл, она первая решилась выговорить слово, которое, хотя и вертелось у многих на языке, но не сходило с него. Прекрасное слово вылетело впервые из вороньего горла русской журналистики. — Назад! — каркнула одна газета. — Назад! назад! — дружно повторили другие, и вдруг поднялась вся стая *вестников, сборников, листков и обозрений* и полетела в разные стороны, пища и чиликая: назад, назад, назад!

Это случилось очень недавно, именно в то время, когда... одним словом, очень недавно. Так называемые теоретики выбивались из сил, то там, то сям стали выполнять из щелей попрытавшиеся от дневного света гады; между тем в разных местах вспыхивали пожары, грустное предчувствие томило всех. В это время подняли голову и притаившиеся в печатных листах лжепророки. Солнце, рассыпавшее щедроты свои на всякую тварь, пригрело и их. Они выждали ту минуту, когда порыв энтузиазма в обществе охладел и стали появляться первые признаки поворота к старому порядку. Это случилось, как уже сказано, потому, что в обществе не стало ни сил, ни желания жертвовать своими настоящими выгодами во имя будущих благ. Они выждали эту минуту и тут-то явились представи-

телями того практического смысла, на который оставалась одна надежда. Люди, застигнутые раздумьем среди дороги, люди, потерявшие охоту идти к неизвестному будущему и не желавшие признаться в своем бессилии, разумеется, должны были обрадоваться, когда нашелся человек, который повернул их лицом назад и сказал:— «Да что вы? Разве это зад, это перед». Ну, все и пошли *взад наперед*. Оно как будто бы и вперед, но в то же время и назад. В подобные нерешительные минуты, когда и без того каждый более или менее начинает чувствовать склонность к благородной ретирade и только не решается первый начать отступление, в подобные минуты стоит только кому-нибудь крикнуть:— Ну, куда вы идете, чертя голову?— и сейчас же все послушаются и не только послушаются, но даже будут превозносить того, кто первый решился высказать то, что у всех лежало на душе и чего все втайне желали. Но так как во всяком случае вернуться назад с пустыми руками неловко, то, чтобы успокоить несколько свою совесть, все обыкновенно принимаются бранить того, кто повел в незнакомое место и поставил всех в затруднительное положение. И тут человек, завладевший расположением толпы, может делать с нею все, что захочет, только, разумеется, недолго.

Приведенный сейчас пример должен бы, кажется, достаточно объяснить причину, почему в нашей публике начинает замечаться некоторая самостоятельность в выборе периодических изданий. Объяснение нетрудное: публика предпочитает те издания, в которых находит наибольшее поощрение своим задушевным желаниям и где, кроме того, преподаются практические советы: как, в каком случае и каким образом следует извернуться, чтобы не попасть в беду; а так как газеты имеют возможность больше и чаще удовлетворять этой потребности, нежели журналы, то газеты предпочитают журналам, но... Но лучше обратиться прямо к подписчику.

И это тебе не стыдно!.. Нет, не оправдывайся, не держи меня за пуговицу и не старайся растрогать жалобами на судьбу. Какая тут судьба? Когда ты приходишь в книжный магазин Кожанчикова, где принимается подписка, ты там не жалуешься, напротив того, ты вздергиваешь нос и наморщиваешь брови. Ты хочешь притвориться серьезным человеком, гражданином? И ты воображаешь, что кого-нибудь можешь обмануть? Гражданин! «Mais, mon cher»,— говоришь ты. Нечего тут «mon cher». Напрасно ты финтишь и стараешься оправдаться. Я очень хорошо понимаю твое положение, поэтому я и не браню тебя, а только стыжу. Об одном прошу я тебя: не ври. Я несколько не удивлюсь, что ты по молодости лет увлекся. Это понятно. Старые прелюбодеи воспользовались твоею неопытностью и растлили тебя. И за это осуждать тебя нельзя. Я не брошу в тебя камня, я только попробую предостеречь тебя на будущее время.

Знай, несчастная жертва соблазна, что близок тот день, когда с треском лопнут обертки старых журналов, газеты развернутся сами собою и поведают миру печальную историю твоего падения. В тот день бумага покраснеет от стыда, а буквы попытают провалиться сквозь землю, но не провалятся. И многие будут давать большие деньги за то, чтобы только выскоблить прежде ими писанные строки, но бумага превратится в камень, а строки нальются кровию и ножи будут от них отскакивать. Обольстители твои разбегутся и спрячутся, а писания их останутся и ты останешься,— и будут эти листы служить тебе вечным позором в назидание потомства. В то время ты вспомнишь льстивые речи, которыми развратили тебя, ты будешь проклинать день, в который ты допустил себя до соблазна, но тогда уже будет поздно.

<1864 г.>